

ПИСАТЬ ОНЕГИНСКОЙ СТРОФОЙ»



В 60-е Одесская киностудия предложила Бродскому исполнить роль секретаря подпольного обкома. Форму верхаха он примерил по собственной инициативе...



Иосиф Бродский на процессе. Над ним нависает судья Савельева



В Америке, с обезьяной

Окололитературный трутень

«Вечерний Ленинград», 29 ноября 1963 г.
ИЗВЕСТИЯ - 2004 - 18 февр - с. 7
«...Несколько лет назад в окололитературных кругах Ленинграда появился молодой человек, именовавший себя стихотворцем... Приятели звали его просто — Осей. В иных местах его величали полным именем — Иосиф»

Тарабарщина, кладбищенски-похоронная тематика — это только часть невинных развлечений Бродского. Еще одно заявление — «люблю я Родину чужую...»

Евгений РЕЙН, поэт: Свидетели обвинения не знали, о ком идет речь

Иосиф Бродский и Евгений РЕЙН познакомились почти полвека назад: оба были молоды, оба жили в Питере, и тот, и другой болели поэзией — Рейн вполне мог стать обвиняемым вместо Бродского. О том, что было до и после суда и как проходил процесс, рассказывает непосредственный свидетель происшедшего.

ИЗВЕСТИЯ - 2004 - 18 февр - с. 7.

— Как вы познакомились с Бродским, что у вас была за компания?
— Компания любителей российской словесности сложилась, когда я был студентом механического факультета Ленинградского Технологического института имени Ленсовета. В одной группе со мной учился ныне проживающий в США Дима Бобышев — симпатичный, способный мальчик, но еще совершенно темный по части поэзии. На химическом факультете Технологички числился Анатолий Найман, впоследствии ставший секретарем Ахматовой. Среди нас троих я считался старшим: я уже много прочел, знал русских поэтов XIX века, всего Блока, Маяковского, советскую поэзию...

Мы дружили с ныне покойным Ильей Авербахом, впоследствии знаменитым кинорежиссером, талантливыми поэтами Сергеем Вольфом и Александром Кушнером, Андреем Битовым, тогда еще писавшим стихи...
А Бродский появился позже. Я впервые увидел его году в пятьдесят восьмом, когда у меня был вечер в одном из ленинградских Домов культуры. Он выступил на нем и упрекнул меня в том, что я декадент... Я не очень его запомнил.

А осенью 1959 года, когда я уже успел окончить институт, поработать и поругаться в Пятигорске и вернуться в Ленинград, меня пригласил в гости мой приятель Ефим Славинский (он эмигрировал в Англию и всю жизнь проработал на Би-би-си). Когда я приехал, Славинский и его друг Леня Ентин (нынче он в Париже) выскочили мне навстречу, и взмолились: «Бога ради, спаси! Пришел мальчик, который не дает нам спокойно выпить: все время читает свои дурацкие стихи...»
Это был Бродский.

Он показался мне очень симпатичным и совсем не бездарным человеком. Бродский работал в геологических партиях и как раз собирался в поездку. Вернувшись, он взглянул ко мне, и его стихи уже были совсем другими...
Так мы подружились.

Вскоре я переехал от Исаакиевского собора к Пяти углам. Денег на грузчиков у меня не было, и Бродский вместе со мной таскал коробки с книгами и мебель. Новая комната принадлежала мне одному: она стала местом, где собиралась наша литературная компания. С этой поры мы почти ежедневно виделись с Бродским.

— Бобышева вы знали с института, с Бродским подружились, когда стали инженерами. Две стороны треугольника налицо — как в компании появилась Марина Басманова?
— Она присутствовала в ней довольно относительно. Марина была невестой замечательного ленинградского композитора Бориса Тищенко. Потом у них что-то не получилось, связь порвалась, и у Марины начался роман с Бродским... К этому времени я уже учился на высших курсах киносценаристов в Москве. Но я постоянно ездил в Ленинград, и вся история с преследованиями Бродского (она началась в конце 1963 года) разворачивалась на моих глазах.

— Почему власти зацепились именно за него, ведь было же много и других поэтов-неформалов, потенциальных кандидатов в тунейдцы?
— Это мне до конца не ясно. Инициатором травли стал некий Яков Михайлович Лернер. Я его очень давно знал — он работал освобожденным секретарем профкома Технологического института. Это был темный жулик, явно связанный с КГБ, очень предприимчивый, с повадками незаурядного авантюриста. Гораздо позже Лернера судили за его махинации и посадили на восемь лет. А в наши времена он попался на каком-то воровстве в Технологическом институте и был уволен — местное начальство не стало выносить сор из избы и избавилось от Лернера без лишнего шума.

Бродский жил в Дзержинском районе города Ленинграда, там же размещалась контора со звучным именем «Гипрошахт». Лернер возник в ней в 1963 году, во время хрущевских указов по борьбе с тунейдством и народных дружин. Он работал завхозом «Гипрошахта» и одновременно возглавлял народную дружину Дзержинского района.

Дружинники любили фарцовщиков, валютчиков и проституток, а Лернер захотел заняться идеологией: он решил бороться с диссидентами.
С этой идеей он побывал у первого секретаря ленинградского обкома Толстикова. Тот не совсем понял, что будет делать такая дружина, и, по слухам, сказал: «Устрой первый процесс, а мы поглядим, что получится. Если идеологически выйдем в дугу, мы тебя поддержим». Все это было утверждено в партийных и гэбэшных инстанциях. Будущая акция обсуждалась в обкоме комсомола, в нее были вовлечены партийные члены, а исполнителем назначили Лернера.

Тогда он начал искать жертву. Первым кандидатом, видимо, был я, хотя бы потому, что он знал меня по Технологичке. Но я работал инженером на заводе «Вперед», и меня нельзя было подвести под указ о тунейдстве. Лернер приехал на завод, сидел в первом отделе, у прикрепленных к нам гэбэшников, меня вызывали туда, был запутанный, странный разговор...
Но я ему не подошел.

А постоянно менявший работу и в это время вообще ее не имевший Бродский оказался идеальной фигурой для показательного процесса. Он все время где-то выступал, появлялся на каких-то сомнительных с точки зрения властей сходках — и Лернер за него уцепился.
Бродского довольно долго обкладывали флажками. Мне показалось, что это — сугубо ленинградское дело, и, если его увезти в Москву, неприятности удастся пережить.

Так мы и сделали.
В Москве я пристроил его в семье Ардовых на Ордынке, где постоянно жила Ахматова, и поначалу все было очень хорошо. Но потом я позвонил его родителям в Ленинград (и Александр Иванович, и Мария Моисеевна были замечательные люди — отец, фотограф и журналист, прошел всю войну, мама чудесная была), и они сказали, что Лернер изо всех сил разыскивает Иосифа. Тогда мы положили его в Кашенку.

Любого из нас можно подвести под психиатрическую статью, а он был человек нервный... Но через две недели я его навещал, и он взмолился: «Женя, тут одни сумасшедшие, я с ними действительно сойду с ума! Достави меня отсюда».

В Кашенку легче попасть, чем выйти, но помог замечательно ориентировавшийся в советской действительности Виктор Ефимович Ардов. Он позвонил главному психиатру СССР Снежневскому, тот попросил два билета на Утесова — и Бродского отпустили.

Две недели он жил на писательской даче под Москвой, а потом узнал, что в Ленинграде неладно: у Марины и Бобышева начался роман.

Он пришел в мою московскую квартиру на Мясницкую: «Женька, я уезжаю в Ленинград». Я говорю: «Тебя там медленно арестуют!» А он: «Ну и наплевать, своей судьбы избежать нельзя. Я должен выяснить, что происходит с Мариной, дай мне денег на билет».

И я дал ему двенадцать рублей.
Он уехал и был арестован. 18 февраля начался процесс, на который почти никого не пустили. Бродского в результате отправили на психиатрическую экспертизу. Он настоял, чтобы его признали вполне вменяемым, и тогда состоялся второй суд, он проходил 22 марта на Фонтанке в клубе строителей.

Процесс пришелся на Масленицу, и мы с друзьями Иосифа, Ильей Авербахом и физиком Михаилом Петровым, пошли есть блины в ресторан гостиницы «Европейская». Там к нам присоединился другой приятель Бродского Роман Каплан (сейчас он хозяин ресторана «Русский самовар» в Нью-Йорке). А к четырем часам мы пошли на процесс.

Я был там с первой до последней минуты и видел, как из зала суда вывели стенографировавшую Фриду Видгорову, московскую писательницу, самоотверженно защищавшую Бродского. (Она писала это тайком, зажав в ладонях огрызок карандаша и маленькие листочки бумаги).
Лернер чувствовал себя хозяином положения. Чтобы нас устроить, он ходил по залу, держа громоздкий советский катушечный магнитофон «Днепр», и записывал все, что происходило в суде. Процентом семьдесят публики состояло из дружинников, но в остальном Лернер организовал процесс чудовищно небрежно. Бродского обвиняли в том, что он тунейдствует, но у него в это время уже были переводы. Свидетели обвинения не знали, о ком собственно идет речь. Один хотя бы сказал, что видел стихи Бродского: он нашел их у своего сына, и те его разлагают. Остальные обходились и без этого: они выходили, говорили, что никогда не видели Бродского, да и не хотят видеть такого подонка. А затем давали показания.

Адвокат показывала договоры, называла суммы гонораров — в среднем Бродский зарабатывал рубль двадцать в день. Судья Савельева отвечала, что это и есть тунейдство: как можно жить на такие деньги!

Тогда Бродский сказал, что во время предварительного заключения он расписывался за сорок две копейки в день. Значит, на сорок две копейки жить можно, а на рубль двадцать нельзя?

Вся эта история во многом замыкалась на председателя Ленинградского отделения Союза писателей Александра Прокофьева. Кто-то прищемил его злой и веселой эпиграммой, и он думал, что ее сочинил Бродский. Комиссию по работе с молодыми ленинградского Союза возглавлял некто Воеводин, с прокофьевского благословения он родил удивительный документ:

«Настоящая справка дана в том, что И.А. Бродский по-тому не является».

Подпись и печать.
— В этой справке слышен голос Бога.

— Судью она устроила. Со стороны защиты выступали известный литературовед Эткинд, крупнейший германист Адмони и поэтесса Наталья Грудина.
Безумная Савельева тут же стала их терроризировать. Кому-то сказала: «(Мы еще с вами разберемся)». У кого-то отобрала паспорт. Адмони она называла Ашмонным: «Для меня вы Ашмонин!»

Судья никак не могла понять, что такое подстрочник: «Вы перевели часть книги «Кубинская поэзия». Вы что, кубинский знаете? Не знаете? Значит, вы пользуетесь чужим трудом».

Видные переводчики пытались объяснить ей суть дела, но это было бесполезно: «А почему вы вообще считаете себя поэтом? Кто вас им назначил?»
Бродский ответил, что это от Бога, и судья возбудилась еще больше.

Все происходящее выглядело чрезвычайно нелепо. Суд развалился даже по советским временам, и мы думали, что приговор будет очень мягким. Но в обкоме все решили заранее: Иосифу дали пять лет ссылки, и он поехал в деревню Норенская Архангельской области, за тридцать километров от железнодорожной станции Коноша.

— Почему же сразу после приговора его адвокат не подал апелляцию?
— Бродский сидел не по статье Уголовного кодекса, а по указу о тунейдстве. Приговор был окончательным.

24 мая 1965 года ему исполнилось 25 лет, и мы с Найманом поехали в Норенскую на его день рождения. У нас был огромный багаж: мы взяли американские сигареты, пишущую машинку «Оливетти», водку, икру... Бродский снимал избу у очень симпатичного человека по фамилии Пестерев. В Великую Отечественную Пестерев попал в плен, после освобождения десять лет отсидел в отечественных лагерях и остался жить около своей зоны. Бродский очень дружил с этим Пестеревым и потом даже пытался выхлопотать ему пенсию — бывшие военнопленные ее не получали... Но из этого, разумеется, ничего не вышло.

Итак, мы приехали в Норенскую — а Иосифа нет. Дело в том, что о любой своей отлучке он должен был договариваться в милиции на станции Коноша. Он уехал Вологду посмотреть, а по возвращении ему дали пятнадцать суток. Но мы нашли общий язык с милиционерами: за две бутылки водки они отпустили его на собственный день рождения. Найман вскоре уехал, а я прожил с Иосифом месяца полтора.

К Бродскому в деревне относились замечательно. Крестьяне совершенно не понимали, за что его сослали. Они приходили к нему, он выдавал им лекарства... Его приписали к совхозу, но работа была не ахти какая: каждый день он часа два что-то делал, потом возвращался, и мы обедали.

Хозяйством Иосиф заниматься не хотел. У него была огромная банка югославской ветчины, и он, закатав рукава, вытаскивал полную горсть мяса и ел, запивая ледяной водой из бочки.

Я пытался простоять: «Вот сулчик, давай поедем тушенки с картошкой...»
Бродский отвечал: «Я не хочу привыкать к этой жизни. Я не сдаюсь».

Он переносил ссылку с достоинством и невероятной мудростью. Тогда он написал массу замечательных стихов, начал изучать английский, причем делал это очень интересно. Ему в подарок прислали антологию американской и английской поэзии — на языке, без русского перевода. По ним он и разбирался.

— К нему ведь и Басманова приезжала?
— Да, она была в Норенской... Я думаю, что и сын Иосифа — следствие ее визита в деревню.

За него хлопотали Чуковский, Маршак, Ахматова, даже Шостакович что-то подписал. И в августе 1965 года Бродского не реабилитировали, а амнистировали — простили.

— Когда он вернулся в Ленинград, собралась какая-то компания...
— Он приехал не в Ленинград, а в Москву, ко мне на Мясницкую, 13. Был август 1965 года, я заканчивал научно-популярный киносценарий, у которого вышли все сроки, и никого не ждал. И вдруг звонок в дверь, а на пороге Иосиф.